

ПИСЬМА РУССКОГО ОФИЦЕРА



*Вспоминания
участников войны
1812 года*

Денис Давыдов

**Письма русского
офицера. Мемуары
участников войны 1812 года**

«Издательство АСТ»

2012

Давыдов Д. В.

Письма русского офицера. Мемуары участников войны 1812 года /
Д. В. Давыдов — «Издательство АСТ», 2012

Отечественная война 1812 г. оставила множество интересных источников, среди которых особое место занимают воспоминания участников тех далеких событий. В предлагаемую вниманию читателей книгу вошли «Записки» Н. А. Дуровой, Ф. Н. Глинки, Д. В. Давыдова, Н. Н. Муравьева, А. П. Ермолова, А. Х. Бенкендорфа. Без этих мемуаров не обходится ни одно исследование, посвященное истории нашествия Наполеона на Россию. Всегда приятно изучить в большем объеме тексты, раздерганные на сотни цитат, и самостоятельно проверить, так ли уж близки концепции мемуаристов к идеям авторов многочисленных монографий и популярных работ.

Содержание

Предисловие	5
Фуражировка. На марше	25
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Письма русского офицера Мемуары участников войны 1812 года

Предисловие



Изучение Отечественной войны 1812 года немисливо без привлечения широкого круга мемуарных источников, написанных участниками событий – крупными военачальниками и простыми жителями России, которым в грозную годину пришлось превратиться в солдат.



В настоящей публикации мы предлагаем читателям подборку наиболее интересных воспоминаний, без которых не обходится ни одно исследование заявленной темы. Всегда приятно изучить в большем объеме тексты, раздерганные на сотни цитат, и самостоятельно проверить, так ли уж близки концепции мемуаристов к идеям авторов многочисленных монографий и популярных работ.

Вниманию читателей предлагаются «Записки» Н. А. Дуровой, Ф. Н. Глинка, Д. В. Давыдова, Н. Н. Муравьева, А. П. Ермолова, А. Х. Бенкендорфа. Заглавие книги взято из знаменитых воспоминаний Глинка «Письма русского офицера», которые были составлены в излюбленной литературной форме той эпохи – эпистолярном жанре.

Каждый из включенных в книгу мемуарных фрагментов раскрывает для нас особую грань тогдашних событий и поновому поворачивает образ защитника отечества: это и герой-партизан, и кавалерист-девица, и простой пехотный офицер, и молоденький выпускник военного училища, и вестовой Главной Квартиры, и прославленный генерал, с мнением которого считались при дворе.

Одни из наиболее ярких мемуарных страниц принадлежат перу Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866), больше известной как «кавалерист-девица». Это первая в отечественной истории женщина-офицер, прошедшая тяжелый боевой путь в эпоху Наполеоновских войн. В середине жизни она взялась за написание воспоминаний и, по словам А. С. Пушкина, «столь же крепко держала перо, как прежде саблю».

Дурова родилась 17 сентября 1783 г. в Киеве в семье отставного гусарского ротмистра А. В. Дурова и его супруги Н. И. Дуровой, урожденной Александрович. Ее мать была неординарной личностью, поклонницей европейской просветительской литературы, и очень страдала от того, что для нее, как для представительницы прекрасного пола, многие пути в жизни закрыты. Надеясь, в соответствии с теориями мистиков XVIII в., как бы перевоплотиться в сыне, она жадно ждала первенца, но появление на свет дочери сильно разочаровало ее. Пока отец оставался на службе, семья жила будто бы «посреди военного лагеря». Девочку отдали на воспитание «дядьке» – гусару Астахову, который развлекал ребенка, как умел: «ходил в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махать саблей».

Неудивительно, что Надежда, выросшая на бивуаке, по-настоящему спокойно и защищенно чувствовала себя именно в походном лагере, а родной считала военную среду. Для нее естественно было ощущать себя «мальчишкой». С возрастом это убеждение не только не прошло, но и укрепилось. Надежде исполнилось 18 лет, когда ее выдали замуж за чиновника Саратовского земского суда Чернова. С миниатюры тех лет на зрителя смотрит стройная темно-волосая девушка с правильными чертами печального лица и длинной, «лебединой» шеей. Брак не принес ей счастья. Через два года супруги предпочли «разъехаться». Муж отправился служить в Ирбит, а Надежда с сыном Иваном вернулась в родительский дом. Тот факт, что Чернов не сумел, как было принято, оставить мальчика при себе, говорит о сильном характере матери.

Однако и под родным кровом Надежду ожидали страдания. Мать по-прежнему не принимала ее, возраст госпожи Дуровой только обострил ее раздражительность и ипохондрию. Она «постоянно жаловалась на судьбу пола, находящегося под проклятием Божиим, ужасными красками описывала участь женщин». Эти сетования вызвали у Надежды «отвращение к своему полу». Даже заботы о сыне не примиряли ее с действительностью. Наконец, жизнь показала Надежде настолько невыносимой, что она решила бежать. Незаметно взяв старую казацкую одежду, Дурова отправилась купаться, платье бросила на берегу, а сама, облачившись в мужскую одежду, покинула дом, оставив четырехлетнего сына на руках бабушки и дедушки.

Родные решили, что Надежда утонула. Тем временем она присоединилась к полку донских казаков, направлявшихся на войну с Наполеоном в Польшу и Пруссию. Ей удалось выдать себя за «помещичьего сына Александра Соколова» и вступить в армию. Под этим именем Надежду приняли в уланский полк, и ей довелось увидеть кровопролитное сражение при

ПрейсишЭйлау. Страшное зрелище тысяч убитых произвело на молодую женщину такое сильное впечатление, что она раскаялась в том, что обманула родных: ее могут убить в одной из подобных битв, а близкие так и не узнают, как сложилась судьба дочери.

Собравшись с духом, Дурова написала письмо отцу, прося прощения, но настаивая, что и впредь будет «идти путем, необходимым для счастья». Отставной ротмистр простил дочь, но написал прошение на имя императора Александра I, извещая государя о сложившейся ситуации и прося разыскать «господина Соколова». Дурову нашли и, не раскрывая истинного положения вещей, препроводили в Петербург, где она имела личную встречу с императором. Оставшись наедине с царем, Надежда бросилась на колени, призналась в своем поступке и изложила мотивы, вынудившие ее совершить обман. Александр I был тронут ее искренностью и безвыходным положением: нигде, кроме военного поприща, Надежда себя не мыслила, роль жены и матери казалась ей невыносимой. Император не только распорядился оставить Дурову на службе, не задавая ей более никаких вопросов, но и «подарил» новую фамилию – Александров, как бы утверждая тем самым свое покровительство. Эту фамилию Надежда носила до смерти и очень гордилась ею. Характерна реакция Дуровой на восстание декабристов – «отвращение», о котором она говорила Пушкину. Ее взгляд диктовался не только негодованием «старого слугаки»: бунтовщики нарушили присягу. Но и позицией благодарного человека: мятежники сначала намеревались убить Александра I, который обошелся с ней по-доброму, сумев понять то, что в контексте традиционной культуры начала XIX в. было в принципе непонимаемо.

Итак, Дурова стала Александром Андреевичем Александровым. Была зачислена корнетом в Мариупольский гусарский полк. За участие в боях и за спасение жизни офицера в 1807 г. ее наградили знаком отличия Военного ордена – солдатским Георгиевским крестом – чрезвычайно почетным и ценным в России. В 1811 г. она перешла в Литовский уланский полк, принимала участие в отступлении русской армии от границы в 1812 г. Эти эпизоды описаны в ее мемуарах исключительно ярко. Во время Бородинского сражения Дурова получила легкую контузию, но оправилась, была произведена в чин поручика. Чуть позже она служила ординарцем у главнокомандующего М. И. Кутузова, сопровождая его до Тарутинского лагеря. После изгнания Наполеона из России Дурова принимала участие в Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг., отличилась при блокаде крепости Модлине, в боях при Гамбурге. Лишь в 1816 г. она вышла в отставку в чине штаб-ротмистра. Несколько лет жила у дяди в Петербурге, затем уехала в свое имение под Елабугой.

Получив приличное домашнее образование, Надежда Андреевна, подобно многим офицерам ее времени, вела на войне повседневные записки, которые позднее легли в основу мемуаров. Последние создавались в Елабуге, «от нечего делать». Впервые воспоминания Дуровой увидели свет в 1839 г. под названием «Кавалерист-девица. Происшествие в России». А в 1842 г. появилась первая, развлекательная, повесть А. Я. Рыкачева о ее приключениях. Уже тогда Дурову считали живой достопримечательностью, курьезом, чем-то вроде кавалера д'Эона, только наоборот. Ее биография попадала в книги о знаменитых травести. Мало кто задумывался, как неблагоприятна подобная слава и как больно она отзывается на жизни человека.

Масла в огонь подливало поведение самой героини, которая ходила в мужской одежде, коротко стригла волосы, курила, закидывала ногу на ногу и говорила о себе в мужском роде. Когда сын Дуровой, практически не знавший матери, решил жениться, он попросил ее благословения, обратившись к Надежде Андреевне в письме: «дорогая матушка». Дурова ответила весьма строго: «обратитесь по чину». После чего прошение, адресованное «господину штаб-ротмистру», было написано, а благословение получено. Но отношения с Иваном у матери не восстановились.

Дурова скончалась в Елабуге 21 марта 1866 г. в возрасте 83 лет. Согласно завещанию, ее похоронили в мундире, с воинскими почестями на Троицком кладбище города. Жизнь этой удивительной женщины послужила основой для пьесы А. К. Гладкова «Давным-давно», кото-

рая впервые была поставлена в блокадном Ленинграде в 1941 г. По ней в 1962 г. Э. А. Рязанов снял кинофильм «Гусарская баллада».

Название этой книги взято из мемуаров известного литератора первой четверти XIX в. Федора Николаевича Глинки (1786–1880), чьи воспоминания, созданные вскоре после Отечественной войны 1812 года, привлекли внимание современников задолго до публикации, еще в списках. Сам он рассказывал: «В 1817 году, когда мне довелось быть Председателем известного в то время Литературного общества и, в чине полковника гвардии, членом Общества военных людей и редактором “Военного журнала”, посетили меня в один вечер (в квартире моей в доме Гвардейского штаба) Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич Жуковский первый завел разговор о моих “Письмах русского офицера”, заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества.

“Ваших писем, – говорил Жуковский, – нет возможности достать в лавках: все-де разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным”.

Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, а наконец заговорил: “Нет! – сказал он, – не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не позволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро ее ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написано у вас, где случилось, как пришлось... Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать!”»

Последовал ли Глинка совету Крылова, судить читателю. При яркой и образной подаче материала он не раз увлекался «красивостями» стиля, меняя «схваченное второпях, на походе» и «вылившееся у бивачных огней» на более литературно безупречные обороты. Особенно заметна эта работа над текстом в самом начале воспоминаний, где автор рисует ожидание войны, страшные знамения и патриотический подъем, охвативший его и других офицеров еще накануне нападения французов. Эти страницы – дань литературной традиции того времени, но вряд ли живые зарисовки с натуры. Они выпрєнны и порой кажутся излишне цветистыми.

Лишь постепенно, с оставления Смоленска, события начинают описываться по старым дневниковым заметкам и интересны именно благодаря непосредственной реакции автора на происходящее. Тем не менее «новых заплат на старом кафтане» достаточно и в дальнейшем. Они заметны для внимательного читателя и касаются, в первую очередь, характеристики лиц, участвовавших в сражениях, например М. А. Милорадовича, «лирических отступлений», связанных с неприязнью к французам не просто как к завоевателям, а как к носителям определенной культурной традиции, а также подчеркнутого, восторженного русофильства автора.

Глинка происходил из старинной дворянской семьи, принадлежавшей к смоленской православной шляхте. Он воспитывался в Первом кадетском корпусе, по окончании которого в 1803 г. вышел офицером Апшеронского пехотного полка. Участвовал в походах 1805–1806 гг., которые ярко описал в «Письмах русского офицера о Польше, австрийских владениях и Венгрии». Это первое издание, принесшее автору известность, увидело свет в 1808 г. По окончании кампании 1806 г. Федор Николаевич вышел в отставку и поселился в родовом имении, где посвятил себя литературному творчеству. Его перу принадлежат «Письма к другу» – произведение, проникнутое идеологией раннего славянофильства, которое автор соединял с либеральными, вольнолюбивыми настроениями. А также повесть «Зиновий-Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». В 1812 г. Глинка вернулся в родной полк, где вскоре стал адъютантом генерала М. А. Милорадовича, вместе с которым принял участие практически

во всех важнейших сражениях Отечественной войны и Заграничного похода русской армии. Милорадович на долгие годы стал покровителем Глинки, искренним восхищением перед ним проникнуты не только мемуары автора, но и специальные повести «Подвиги графа Милорадовича в Отечественную войну» и «Краткое обозрение военной жизни и подвигов графа Милорадовича».

После войны, в 1815–1816 гг., Глинка издал восемь частей «Писем русского офицера», которые подтвердили его славу одного из наиболее удачливых русских литераторов. Благодаря ей он стал в 1817–1819 гг. редактором «Военного Журнала», где по его замыслу начали издаваться воспоминания участников недавних военных событий. Часть из них была написана по-французски, т. е. на наиболее употребительном литературном языке того времени. Это не значило, что авторы не знали русского. Чаще всего они просто считали его языком сугубо разговорным, а свои мысли и чувства привыкли выражать на языке Корнеля и Расина. Глинка нередко выступал переводчиком таких текстов. Правда, его переводы, по мнению современных лингвистов, весьма сухи и даже лапидарны, как подстрочник. Тем не менее Глинка внес свою лепту в сложение нормы русского литературного языка.

Тогда же Глинка являлся председателем «Вольного общества любителей российской словесности». В 1819 г. он начал службу чиновником по особым поручениям при петербургском генерал-губернаторе. Эту должность занимал его старый начальник Милорадович, который сделал Глинку заведующим своей канцелярии. На этой должности Федор Николаевич «употребляем был для производства исследований по предметам, заключающим в себе важность и тайну». Например, в 1820 г. в его юрисдикцию попало расследование по делу «возмутительных стихов» А. С. Пушкина. И Глинка, и сам Милорадович проявили по отношению к молодому поэту понимание и снисходительность. В ответ сосланный на юг Пушкин назвал Глинку «Аристидом» и «великодушным гражданином». Однако после возвращения поэта их отношения разладились. Известна и другая характеристика, данная Пушкиным Федору Николаевичу, – «Кутейкин в эполетах», «Фита».

Глинка не остался в стороне и от деятельности тайных декабристских обществ. Со многими будущими декабристами его связывали тесная дружба и родство. Он состоял членом «Союза благоденствия», хотя, как считается, активного участия в работе не принимал. Однако его вольнолюбивые произведения нередко использовались декабристами при агитации. Например, популярным в кругу заговорщиков был перевод Глинкой 136-го псалма «Плач пленных иудеев», из которого особенно часто цитировалась строка: «...рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют». Здесь поэзия автора была ощутимо близка к лирике Адама Мицкевича. После восстания на Сенатской площади Глинка был заключен в крепость. Однако серьезных обвинений против него выдвинуто не было. В 1826 г. Глинку перевели советником губернского правления в Петрозаводск, где он служил до 1830 г., затем был переведен в той же должности в Тверь, еще позже – в Орел. Подобное решение показывало, что Федор Николаевич оставался под подозрением. Только в 1835 г. ему удалось выйти в отставку.

На севере России Глинка увлекся археологией. В Петрозаводске он написал поэму «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой». А в Тверской губернии описывает «каменные древности» севера нашей страны. По выходе в отставку Глинка жил в Москве, затем в Петербурге и, наконец, в 1862 г. вернулся в Тверь, где умер в глубокой старости. Его перу принадлежат стихи на религиозные сюжеты. Вскоре после разгрома декабристов он написал «Опыты священной поэзии», опубликованные в 1826 г. Много позднее, в 1859 г., появились «Иов, свободное подражание священной книге Иова». А в 1861 г. – поэма «Таинственная капля», изданная тогда же в Берлине. Эти тексты полны мистическими переживаниями, близкими к масонскому кругу сюжетов.

Ныне самым главным произведением Глинки, как и при его жизни, остаются «Письма русского офицера». Их популярность объясняется и несомненным литературным дарованием

автора, и темой войны 1812 г., которая неизменно находит своих читателей. Мемуары Глинки – это яркие, трепетные, порой пристрастные тексты, представляющие богатую почву для размышлений.

«Записки» Дениса Давыдова с момента опубликования воспринимались читателями, как лихая, партизанская проза, написанная одним из самых известных и самых любимых героев войны 1812 г.

Денис Васильевич родился 16 июля в Москве в семье бригадира Василия Денисовича Давыдова, служившего под командованием А. В. Суворова. Согласно одной из легенд, Дениса еще в детстве благословил великий полководец, гостивший у отца в имении. «Этот удалой будет военным, я не умру, а он уже три сражения выиграет», – сказал Суворов о Денисе.

Детство поэта прошло в Полтавском легкоконном полку, которым командовал отец, в обстановке военного лагеря. Семья жила в Малороссии, на Слободской Украине. После восшествия на престол Павла I в 1796 г. Давыдовых постигла беда. В полку была произведена ревизия, открылась задолженность командира в размере 100 тыс. рублей, по суду отец был уволен в отставку. Чтобы избавиться от долга, Давыдов-старший продал имение и позднее купил небольшую подмосковную деревню Бородино. Этот выбор тоже оказался несчастным для семьи: во время знаменитого Бородинского сражения деревня и располагавшийся в ней барский дом сгорели. Давыдовы остались фактически без средств к существованию.

В 1801 г. родители определили Дениса в кавалергарды, что было странным выбором при его малом росте. Когда юноша явился в полк, его поначалу даже не захотели принять. Однако он добился своего, и, как писал в автобиографии: «Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольною шляпою». К 1803 г. Давыдов уже дослужился до поручика. Именно к этому времени относятся его первые, весьма едкие эпиграммы, стихи и басни. Юноше хотелось остроумием обратить на себя внимание общества. Так и вышло: его первые литературные опыты, такие как басня «Река и Зеркало» или сатира «Сон», ходили в рукописях. Но при этом оказались задеты весьма высокие лица, в первую очередь молодой император Александр I, который, конечно, не собирался терпеть угрозы. Так, в басне «Голова и ноги» Давыдов писал: «Как ты имеешь право управлять/, Так мы имеем право спотыкаться/ И можем ненароком, как же быть,/ Твое величество о камень расшибить». На фоне революционных событий во Франции подобные намеки вызывали неприязнь к автору со стороны властей предрежащих.

За сатирические стихи Давыдов был переведен из гвардии в армию – в Гродненский гусарский полк, находившийся в Подольской губернии на Украине. При этом он получил звание ротмистра, т. е. повышение сразу на два чина, как обычно делалось при переводе из гвардии в армию. Среди бесшабашных рубак и баловней судьбы поэт оказался на своем месте, здесь шалости, пирушки, небезопасные шутки воспринимались как должное. Язвительные басни отошли в прошлое, теперь Давыдов писал вакхические «зачашные песни», в которых превозносил кутежи в кругу друзей и красавиц. В 1819 г., когда поэт решил наконец жениться на генеральской дочери Софье Николаевне Чирковой, ее мать чуть было не отказала претенденту, узнав про его «зачашные песни». Добрую старушку не сразу убедили, что описанные попойки – не более чем поэтические вольности. Сам герой почти равнодушен к спиртному.

Служба в Гродненском полку не была тяжелой. Однако Давыдов мечтал попасть в действующую армию. Только в ноябре 1806 г. ему удалось отправиться на театр военных действий. Он был назначен адъютантом к П. И. Багратиону, участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау, отличился исключительной храбростью, получил орден Св. Владимира 4-й степени, присутствовал в 1807 г. в Тильзите во время встречи Александра I и Наполеона. Зимой следующего года Давыдов воевал в Финляндии, затем, во время нового столкновения с турками, – в Молдавии.

К началу войны 1812 г. Давыдов дослужился уже до чина подполковника. Его Ахтырский гусарский полк находился в авангарде отступающей армии и так дошел до Бородина. За пять дней до сражения, 21 августа, Денис Васильевич обратился к Багратиону с предложением создать партизанский отряд. Тот внял просьбе лихого вояки и отдал приказ о формировании летучей партизанской партии. С отрядом в 50 гусар и 80 казаков Давыдов совершал головокружительно дерзкие налеты на войска противника, которые ярко описаны в его мемуарах. Есть сведения, что действия Давыдова очень беспокоили лично Наполеона и тот приказал сразу же расстрелять командира, как только его возьмут в плен. Но вышло иначе: Бонапарту пришлось самому бежать из России, а Давыдов даже увидел из засады в лесу дормез французского императора...

Во время Заграничного похода русской армии Денис Васильевич получил два ордена: Св. Владимира 3-й степени и Св. Георгия 4-й степени. Он дрался под Калишем, занял Дрезден, участвовал в штурме Парижа. Наконец, ему присвоили чин генерал-майора. Однако вскоре оказалось, что чин присвоен по ошибке: из подполковников сразу на две ступени подняться было нельзя. Поэтому Давыдов некоторое время проходил в полковничьем звании и только потом получил первое генеральское.

В 1815 г. его избирают членом литературного общества «Арзамас», подтвердив успехи на поэтическом поприще. К этому времени его «гусарская лирика» была уже широко известна. Наиболее удачные произведения из этого цикла («Гусарский пир», «Песня старого гусара», «Полусолдат» и «Бородинское поле») вызвали живой отклик у публики. Давыдов был дружен со многими декабристами, но отклонил предложение вступить в общество. На его долю выпали еще две войны: в 1827 г. с Персией и в 1831 г. с восставшей Польшей. После чего Давыдов вышел в отставку, получил ордена Св. Анны 1-й степени, Св. Владимира 2-й степени и долгожданный чин генерал-лейтенанта. Заметным явлением в русской литературе второй четверти XIX в. стала военная проза Дениса Васильевича, который оставил воспоминания не только о своих военных приключениях, но и военачальниках, которых ему довелось встретить, например об А. В. Суворове и Н. Н. Раевском. Именно Давыдов добился переноса праха князя Багратиона на Бородинское поле. Однако сам он не дожид до этого, скончавшись 22 апреля 1839 г.

Есть мемуары, которые не только сравнительно рано вошли в научный оборот, но и долгие годы определяли впечатления читателей от тех или иных событий отечественной истории. Воспоминания Николая Николаевича Муравьева (1794–1866) об Отечественной войне 1812 года много раз переиздавались в советское время, поскольку автор не только обладал живым пером, но и выглядел идеологически близким для господствовавшей тенденции. «Генерал-якобинец» – брат декабриста Александра Муравьева, сам причастный тайным обществам, долгие годы служивший на Кавказе при А. П. Ермолове, резкий, несговорчивый критик порядков в николаевской армии, сторонник освобождения крестьян, не раз оказывавшийся в опале за свои убеждения... С другой стороны, биография Муравьева изобиловала взлетами и высокими назначениями, каждое из которых он оправдывал весьма успешными действиями и как полководец, и как дипломат, не забывая при этом фрондировать и внешне оставаться как бы в оппозиции к происходящему. Либеральная общественность видела в нем человека дела, друга просвещения и вольнодумца. А правительство могло поставить в пример нерадивым военачальникам как строгого блюстителя порядка, искоренявшего лень и роскошь среди офицеров.

При этом Николай Николаевич оставался честен, не стараясь подделаться ни под тех, ни под других. Таковы были его убеждения. Он жаждал свободы и порядка, боевых побед и падения режима, наград и развенчания тех, кто был с ним не согласен. Его характер в каком-то смысле был слепком с характера Ермолова, столь почитаемого генералом. Целостность подобного мировоззрения может быть понята только с учетом удивительного времени, в которое формировались эти герои. Французская революция, чтение просветителей, любовь к крайностям Ж. Ж. Руссо и войны с Наполеоном, воспитывавшие самый горячий патриотизм.

Николай Николаевич родился в обедневшей дворянской семье, почти лишившейся средств к существованию. В 1811 г. отец зачислил его в Школу для колонновожатых, находившуюся в Москве и готовившую квартирмейстеров для армии. О поступлении в гвардию не шло и речи, содержание сыновей в столице стоило немалых денег. У Муравьева было два брата, и всем троим предстояло тянуть офицерскую лямку. Содержание кадетов в школе было весьма скромным, чтобы не сказать бедным. Ничего удивительного, что уже в «студенческие» годы будущий военачальник создал тайное «Юношеское собрание», объединявшее многих будущих декабристов. Муравьев и его товарищи собирались создать республику на острове Сахалин. Трудно сказать, что в большей степени помешало реализации этого плана: война 1812 г. или получение первого офицерского чина и отъезд несостоявшихся заговорщиков к месту службы.

Николай Николаевич был зачислен в армию прапорщиком и определен в квартирмейстерский отдел 1-й армии. Сражаясь вместе с ней, он принял участие в Бородинской битве, боях у Тарутина, под Вязьмой. Эти события увлекательно описаны им в мемуарах, главное достоинство которых – показ войны без прикрас и «конфетного» героизма. Предпочтителен и ракурс этого рассказа: читатель как бы видит происходящие события глазами младшего офицера, разделяющего с солдатами все тяготы отступления и не менее трагичного наступления. Уже в XX в. появился термин «лейтенантская проза» применительно к текстам о другой Отечественной войне. Муравьев стал наиболее дальним предшественником этого направления. Он максимально приблизил к читателю рассказ о своем времени, так что кажется, будто бородинская грязь и кровь буквально застыли у автора на пере.

Николай Николаевич принял участие в Заграничном походе русской армии, сражался под Лютценом и Бауценом, Кульмом и Лейпцигом, Фер-Шампенуазом и Парижем, получил несколько боевых наград и закончил войну в звании поручика. Его приняли на службу в Генеральный штаб, но отказ отца невесты знаменитого адмирала Н. С. Мордвинова выдать дочь за небогатого офицера вынудил Муравьева покинуть столицу и искать продвижения на Кавказе, где шла война с горцами. Там Николай Николаевич вновь встретился с Ермоловым, которого знал еще в годы Отечественной войны. На мемуарах Муравьева лежит неизгладимый отпечаток рассказов «проконсула» Кавказа, вплоть до похожего описания некоторых «фронтовых» эпизодов.

Муравьев сопровождал Ермолова в дипломатической поездке в Персию, затем служил у него корпусным квартирмейстером, а в 1819 г. был командирован в Среднюю Азию. За эту миссию Николай Николаевич получил чин полковника. Его книга «Путешествие в Туркмению и Хиву», написанная в 1822 г., была переведена на немецкий, английский и французский языки и издана за рубежом. Тогда же Муравьев получил в командование 7-й карабинерный полк, что существенно поправило его материальное положение, и вскоре женился на генеральской дочери Софье Ахвердовой. Ермолов был на их свадьбе посаженным отцом.

События на Сенатской площади не прошли мимо семьи Муравьевых. Под следствием оказался брат Александр. Сам Николай Николаевич не пострадал и даже не привлекался к делу, хотя на него как на участника ранних организаций показал С. П. Трубецкой. Однако офицеры, служившие у Ермолова на Кавказе, практически не подверглись гонениям. Сам командующий как будто знал о тайных обществах, но не считал нужным их замечать.

В 1826–1828 гг. Муравьев принял участие в войне с Персией, а 1828–1829 гг. – с Турцией. Совершил дипломатическую миссию в Египет и Турцию, много сделал для заключения Ункяр-Искелесийского мирного договора 1833 г. Однако через три года Николай Николаевич был уволен со службы: у него не сложились отношения с новым командующим на Кавказе И. Ф. Паскевичем, который по возможности избавлялся от «людей Ермолова» в своем корпусе. Муравьеву припомнили и связи с политическими заключенными, и покровительство сосланным декабристам. Только в 1848 г. он сумел вернуться на службу, был назначен коман-

диром гренадерского корпуса, участвовал в походе в Венгрию в 1849 г., при этом одобряя действия венгерских революционеров и считая союзническую помощь Австро-Венгрии «позорной» и ошибочной со стороны России.

В 1854 г. Муравьев был назначен наместником на Кавказе и главнокомандующим Отдельным кавказским корпусом с чином генерала. Он взял крепость Карс, что явилось ярким эпизодом на фоне неудачно складывавшейся Крымской войны 1853–1856 гг. За этот подвиг Николай Николаевич удостоился прибавления к фамилии «Карский». После подписания Парижского мира 1856 г. Муравьев вышел в отставку и был введен в Государственный совет, куда по традиции собирали всех именитых стариков. Он скончался через десять лет, увидев и освобождение крестьян, и эпоху великих реформ.

После смерти отца его дочь А. Н. Соколова напечатала его записки в журнале «Русский архив» в 1885–1895 гг.

Особого внимания заслуживают мемуары одного из самых известных участников войны 1812 г. Алексея Петровича Ермолова (1777–1861) – легенды русской армии, человека исключительно умного, талантливого, харизматичного и... неоднозначного с точки зрения нравственных качеств, а также результатов государственной деятельности на Кавказе.

Декабрист М. Ф. Орлов писал, что имя Ермолова «должно служить украшением нашей истории». А. С. Пушкин обращался к нему: «Подвиги Ваши – достояние Отечества, и Ваша слава принадлежит России». Но в «Путешествии в Арзрум» при описании героя признавал: «Улыбка неприятная, потому что неестественна», – и называл ее «улыбкой тигра». А. С. Грибоедов, служивший при Ермолове адъютантом «по дипломатической части» и хорошо знавший своего покровителя, именовал его «сфинксом новейших времен».

Итак, личность сложная и противоречивая, во многом загадочная. Человек железной воли и сильных страстей, независимый и вечно подозреваемый правительством в бонапартистских наклонностях – иными словами, в желании захватить власть. Воспетый в произведениях Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Рылеева, Глинка, Кюхельбекера, Бестужева-Марлинского.

Ермолов родился 24 мая 1777 г. в Москве. Он принадлежал к старинной небогатой семье, чьи корни уходили к вельможам, «выезжим из орды», что позволяло Алексею Петровичу впоследствии называть себя «Чингизидом». Его отец служил правителем канцелярии генерал-прокурора Сената и много работал под началом последнего фаворита Екатерины II П. А. Зубова. Ермолов-старший считал Зубова умным, сведущим человеком, прекрасно разбиравшимся в функционировании государственного аппарата, что противоречит закрепившейся в литературе репутации «дуралеюшки». В мемуарах его сына появился неожиданный пассаж: «Если бы нынешние знали потребности страны, как он!»

Благодаря связям отца Алексей еще в детстве был записан в гвардию, в Преображенский полк, но реальную службу начал только в 15 лет, по окончании Благородного пансиона при Московском университете. В 1792 г. он был произведен в капитаны и зачислен в Нежинский драгунский полк.

Через два года Ермолов уже отличился при штурме предместья Варшавы Праги, на него обратил внимание сам А. В. Суворов, который лично представил молодого капитана к ордену Георгия 4-й степени. Позже Ермолов воевал в Италии против французских войск, затем отправился в Каспийский корпус графа В. П. Зубова, направленный против иранской армии Ага Мохаммед-хана Каджара, вторгнувшейся в 1796 г. в Закавказье. После смерти Екатерины II новый император Павел I немедленно прекратил Каспийский поход и подверг его участников гонениям. Для начала Ермолова «задвинули» в провинцию: в Минской губернии он командовал конноартиллерийской ротой, чины шли своим чередом: в 1797 г. Алексей Петрович стал майором, еще через год подполковником.

Но вскоре Ермолова заподозрили в причастности к тайной политической организации, что в какой-то мере было правдой. Его кузен А. М. Каховский создал кружок поклонников Французской революции. Вся деятельность заговорщиков ограничилась сочинением и распространением сатир на Павла I. Ермолова допросили и на два месяца, без суда, заключили в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. По выходе из него подполковника отправили в ссылку в Кострому. Чтобы не сойти с ума от скуки, молодой артиллерист самостоятельно выучил латинский и начал читать римскую литературу в подлинниках. Именно «костромскому сидению» Ермолов обязан блестящей «тацитовской» стилистикой своих писем и воспоминаний, которую отмечали многие современники.

Скажем сразу, что тексты Ермолова создавались в те годы, когда литературная норма только вырабатывалась. Причем писались они на родном языке, а не по-французски, как мемуары многих современников. Его мемуары – своего рода языковой эксперимент – попытка обогатить русскую стилистику за счет латинской. Отсюда и необычное порой построение фраз, и некоторая громоздкость конструкций, тяготеющая сразу и к отечественной журналистике XVIII в., и к древнеримским образцам.

Во время ссылки трагическим образом изменился характер Алексея Петровича. Позднее он признавал: «В ранней молодости [Павел I] мне дал жестокий урок». Скрытность, осторожность, умение подстраиваться под сильного, не отказываясь от собственной силы, более того – демонстрируя свою независимость, стали отличительными чертами Ермолова. При этом ему так и не удалось добиться сдержанности языка. Он всегда умел к месту ввернуть острое словцо, ермоловские шутки повторялись и в армии, и при дворе, а его письма и мемуары полны колких характеристик сослуживцев. «Бурная, кипучая натура» не позволяла Алексею Петровичу ужиться ни с равными, ни с вышестоящими. А вот подчиненные его обожали, для них он стал настоящим «отцом-командиром».

Ермолов был участником всех войн с Наполеоновской Францией: в 1805, 1806 и 1807 гг. К началу Отечественной войны он достиг уже звания генерал-майора от артиллерии и занял должность начальника штаба Первой армии, которой командовал М. Б. Барклай-де-Толли. Алексей Петрович попал в непростое положение, поскольку согласовывать действия своего шефа – «ледовитого Барклая» и своего прежнего покровителя – горячего и порой несдержанного Багратиона, руководившего Второй армией, было чрезвычайно трудно.

«За что терпел я от тебя упреки, Багратион, благодетель мой! – восклицал в мемуарах Ермолов. – Я всеми средствами старался удерживать между вами, яко главными начальниками, доброе согласие, боясь малейшего охлаждения одного к другому. В сношениях и объяснениях ваших, чрез меня происходивших, нередко холодность и невежливость Барклая-де-Толли представлял я пред тебя в тех видах, которые могли казаться приятными. Твои отзывы, иногда грубые и колкие, передавал ему в выражениях обязательных. Ты говаривал мне, что сверх ожидания нашел в Барклае-де-Толли много хорошего. Не раз он повторял мне, что он не думал, чтобы можно было, служа вместе с тобою, не встречать неудовольствия. Благодаря доверенности ко мне вас обоих я долго удержал бы вас в сем мнении».

Сложные отношения связывали Ермолова с всемогущим графом А. А. Аракчеевым, оказывавшим серьезное влияние на политику Александра I. Долгое время считалось, что Аракчеев тормозил карьеру Алексея Петровича. Однажды на смотре он неодобрительно отозвался о лошадях в конной артиллерии, а в ответ услышал: «Долго ли карьера офицеров армии будет зависеть от скотов?» Казалось бы, забыть такое невозможно. Но именно Аракчеев после Заграничного похода русской армии предложил императору назначить Ермолова военным министром.

Александр I не внял совету. Он не доверял Ермолову, более того, считал выдвижение популярных в армии офицеров крайне опасным для своей власти. «Очень остер и весьма часто до дерзости», – говорил о нем царь. Алексея Петровича ждал Кавказ. В 1816 г. он был назна-

чен командующим отдельным Кавказским корпусом. Вопреки распространенному мнению, эта должность вовсе не была для Ермолова ссылкой. Напротив, он с нетерпением ждал отправления к новому месту службы. В письме к М. С. Воронцову Алексей Петрович признавался: «Мне снится этот дивный край». А при мысли о возвращении в Петербург и участии в вахт-парадах его «мурашки по спине задирали».

У императора были причины подозревать Ермолова в неверности, хотя внешне командующий Кавказским корпусом демонстрировал полную лояльность. Позднее и в разговорах с Пушкиным, и в личном письме Николаю I он настаивал на доверии к нему покойного государя Александра I. Однако его покровительственное отношение к членам тайных обществ, благодушное замечание их деятельности, дружба с некоторыми из них вызывали серьезное недовольство в Петербурге.

Многие декабристы рассчитывали на помощь Ермолова и в мемуарах даже упрекали его, что после провала восстания на Сенатской площади он не снял свой корпус и не бросил его на Петербург, чтобы установить республику. Ермолова прочили членом Временного революционного правительства. Однако сам Алексей Петрович предпочитал увидеть на троне своего старого сослуживца по походу Суворова в Италию и давнего покровителя цесаревича Константина Павловича. По этой причине командующий Кавказского корпуса «промедлил» с присягой Николаю I. А вскоре, в 1826 г., началась война с Персией, на первых порах крайне неудачная для Ермолова. В столице ходили упорные слухи, что сам же командующий своей политикой среди народов Закавказья и спровоцировал новое столкновение. У молодого императора не было причин доверять Алексею Петровичу, и в 1827 г. тот был смещен с поста. Новым командующим на Кавказе стал П. Ф. Паскевич, который и закончил победой войну с Персией. Но начавшуюся еще в 1817 г., во многом из-за наступательных действий Ермолова, войну с горскими народами Чечни и Дагестана правительству не удавалось завершить долгие годы.

После отставки Алексей Петрович жил то в Орле, то в Москве. На короткий срок вернулся к активной деятельности, назначенный членом Государственного совета, но вскоре подал в отставку, понимая, что на Кавказ ему уже не вернуться. Он писал мемуары, вел обширную переписку с друзьями, оставил богатейшую библиотеку, по завещанию перешедшую к Московскому университету, занимался переплетным делом.

Точность и детальность описаний в мемуарах Ермолова показывают, что они были созданы на основе более раннего дневника. «Записки» охватывают период 1798–1826 гг., однако имеют заметные лакуны, например, опущен рассказ о Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг., а также о начале Русско-персидской войны 1826–1828 гг., об обстоятельствах отставки с поста «проконсула» Кавказа.

Сам Ермолов признавался, что создал свои «Записки» «не для печати». Тем не менее в последние годы жизни, по настоянию близких, он занялся подготовкой к их публикации. Уже тогда мемуары ходили в списках, содержащих много ошибок. По ним и была предпринята первая публикация 1863–1864 гг. Тогда же племянник и наследник героя – Николай Петрович Ермолов – осуществил сверенное по оригиналу и учитывающее правку дяди, издание «Записок». Именно оно считается наиболее «легитимным».

«Записки» Александра Христофоровича Бенкендорфа (1783–1844) представляют собой уникальное явление в отечественной мемуаристике. С момента их появления в печати приводимые автором сведения активно использовались в историографии, но... часто без ссылки на источник. Слишком одиозной казалась фигура самого Бенкендорфа, овеянная множеством темных легенд. В пушкинистике сложился образ тайного убийцы в голубом мундире, который если не прямо, то косвенно повинен в гибели великого поэта. (Легенда позднее перешла и на М. Ю. Лермонтова, за которого в действительности Бенкендорф не раз просил императора.) Отечественное декабристоведение охотно ополчалось против участника суда над восставшими, человека, который помог Николаю I серьезно «подморозить» Россию.

Между тем, и пушкинисты знали отзывы самого поэта, согласно которым Александр Христофорович был «безусловно благородной» личностью. И в декабристоведении хорошо известны оценки М. А. Фонвизина, Н. И. Лорера, С. Г. Волконского, писавших о Бенкендорфе как о следователе, заступавшемся за арестантов. Подобная информация отсекалась как несоответствующая господствующей идеологической схеме. Однако тот факт, что созданный образ противоречит источникам, был давно известен в кругу профессионалов. И неудивительно, что изменение оценки личности Бенкендорфа началось именно с его мемуаров.

Так, в монографии известного отечественного источниковеда А. Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого исследования», изданной в 1980 г., признано, что Бенкендорф оставил «богатейшее мемуарное наследие», которое «не подвергалось изучению». Его «Записки» содержат «обширные по размерам повествования», охватывающие «крупные периоды наполеоновских войн». По мнению Тартаковского, воспоминания Бенкендорфа принадлежат к числу немногих «мемуарно-исторических сочинений», в которых автор пытался не только изложить, но и осмыслить происходившие события, дать характеристику действующих лиц, показать, как разворачивавшиеся на его глазах картины связаны с прошлым, а иногда и с будущим России.

Бенкендорф принадлежал к старинной дворянской семье, его предки в XVI в. переселились из Бранденбурга в Лифляндию. Дед был обер-комендантом Ревеля, отец, Христофор Иванович, воевал в Первую Русско-турецкую войну, дослужился до генеральского чина, входил в свиту наследника престола Павла Петровича. Женился на ближайшей подруге великой княгини Марии Федоровны – Анне Шиллинг фон Канштадт, позднее занимал пост военного губернатора Риги. Супруга Христофора Ивановича рано умерла, оставив ему четверых детей, устройством судьбы которых занялась Мария Федоровна. Отсюда покровительство, которое жена Павла I в течение долгих лет оказывала детям покойной подруги. В частности, Александру Христофоровичу. Он, безусловно, принадлежал к ближнему кругу вдовствующей императрицы и был осведомленным, но очень скромным наблюдателем многих тайн августейшей фамилии.

Бенкендорф родился 23 июня 1783 г. (по другим данным, в 1781 г.). Получил образование в знаменитом пансионе аббата Д. Ш. Николая, где воспитывались представители лучших столичных фамилий. Службу начал в 1798 г. унтер-офицером Семеновского полка. Тогда же стал флигель-адъютантом Павла I, а после его гибели – нового императора. Как и его родителям, Александру пришлось переживать удаления от двора, короткие опалы и новые сближения с государями, исполнять их секретные поручения. Долгие годы Мария Федоровна следила и направляла карьеру воспитанника. Александр Христофорович отвечал ей искренним восхищением и позднее писал, что вдовствующей императрице «ничего нельзя поставить в вину, кроме слишком строгого отношения к собственным детям». Эту строгость Бенкендорф не раз испытал на себе. В юности он вел разгульный образ жизни, за что неизменно попадал «на ковер» к покровительнице. Случалось, она даже оплачивала его долги. Далеко не любую претендентку на руку Александра Христофоровича царица готова была одобрить. Так, в 1808 г. она запретила ему жениться на знаменитой французской драматической актрисе мадемуазель Жорж, похищенной Бенкендорфом из Парижа. Зато когда Мария Федоровна посчитала избранницу действительно достойной, она даже не стала пускаться в объяснения с ее родней (теперь недовольны были кандидатурой жениха), а просто послала обеспокоенным тетушкам икону – благословить – и тем решила дело.

Неудивительно, что, испытывая сильный контроль, молодой Бенкендорф постоянно старался вырваться из-под опеки. Таковую возможность предоставляла служба в армии. Благо военных кампаний в начале XIX в. Россия вела достаточно. В 1803–1804 гг. Александр Христофорович участвовал в войне с Персией, отличился при взятии крепости Гянджи, затем в сражениях с лезгинами, был награжден орденами Св. Анны 4-й степени и Св. Владимира 4-

й степени. В 1804 г. Бенкендорф был командирован на остров Корфу, где формировал так называемый Албанский легион из греческих и албанских повстанцев для экспедиции в южную Италию в предстоящей войне с Францией. Воевал с Наполеоном в Пруссии в 1806–1807 гг., отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, был награжден орденом Св. Анны 2-й степени и получил чин полковника. В 1807–1808 гг. ездил с посольством графа П. А. Толстого в Париж. Из-за страстного романа с Жорж пропустил войну со Швецией и, испугавшись, что вся слава пройдет мимо, в 1809 г. отправился на театр военных действий против Турции. В 1811 г. под Рушуком Бенкендорф возглавил атаку Чугуевского уланского полка, за что был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

Начало войны 1812 г. Александр Христофорович встретил в составе Императорской Главной Квартиры. Как флигель-адъютант он поддерживал связь между Александром I и главнокомандующим Второй армией П. И. Багратионом. Затем командовал авангардом «летучего корпуса» генерал-адъютанта барона Винценгероде – первым войсковым партизанским отрядом. Когда войска Наполеона оставляли Москву, авангард Бенкендорфа с боем вошел в покидаемую столицу. До приезда властей Александр Христофорович осуществлял обязанности военного коменданта Москвы. Город продолжал кое-где гореть, ориентироваться приходилось по остовам церквей на перекрестках улиц. В столице оставались брошенные раненные французы, между руинами бродили банды, грабившие то, что не успел взять неприятель. Характерна фраза из письма Бенкендорфа к другу М. С. Воронцову: «Все разоружены и накормлены».

Освободившись от трудных обязанностей в Москве, Бенкендорф продолжал преследование противника до Немана. Затем участвовал в Заграничном походе русской армии, отличился в сражениях при Темпельберге, Люнебурге, при Гросс-Берене, в Битве народов при Лейпциге, получил ордена Св. Георгия 3-й степени и Св. Анны 1-й степени. Во главе отдельного отряда совершил поход в Голландию, занял Амстердам, Утрехт, Роттердам, Бреду, Мехельн. В 1814 г. командовал кавалерией в сражениях при Краоне и Лаоне, дрался при Сен-Дизье. Был награжден прусским орденом Pour le merite («За заслуги»), Большим крестом ордена Шведский меч.

После войны карьера Бенкендорфа на несколько лет забуксовала: он отправился в провинцию, на Украину, где сначала командовал уланской бригадой, а затем драгунской дивизией, дислоцированной в городке Гадяче. Заметив, что друг откровенно дичает, Воронцов спрашивал его из Парижа: «Бога ради, в каком обществе ты вращаешься?» На что Александр Христофорович отвечал: «Общество? Не смей меня. В Гадяче?» Только исполнение ряда секретных поручений Александра I позволило ему снискать доверие императора. В частности, он вел расследование убийства дворовых помещиком Синявиним и, несмотря на сильную столичную родню виновного, решил дело в пользу крестьян. В 1819 г. Бенкендорф, наконец, получил пост начальника штаба Гвардейского корпуса и чин генерал-адъютанта.

Через два года он передал на имя Александра I записку о «Союзе Благоденствия». Тот факт, что государь оставил доклад «без внимания», впоследствии вспоминался Бенкендорфом с горечью. Он считал, что восстания на Сенатской площади можно было бы избежать, прими правительство своевременные меры. В ходе следствия среди бумаг покойного императора Бенкендорф обнаружил и свою записку, уже в ней перечислялись «главные члены» тайного общества. Однако Бенкендорф открыл существование заговора как бы заранее, не тогда, когда планировал Александр I. За что и пострадал – ему вновь пришлось покинуть столицу и принять должность командира 1-й кирасирской дивизии.

В 1824 г., во время знаменитого наводнения, описанного А. С. Пушкиным в «Медном всаднике», Бенкендорф оказался в Петербурге, во дворце, и вместе с генерал-губернатором М. А. Милорадовичем принял активнейшее участие в спасении утопающих. «Он многих избавил от потопления», – писал позднее А. С. Грибоедов. После бедствия Бенкендорф был назначен временным военным комендантом Васильевского острова и наиболее пострадавшей части столицы, где своими быстрыми и удачными мерами снискал уважение жителей.

Во время восстания 14 декабря Бенкендорф находился в свите молодого императора Николая I. Потом был назначен членом Следственной комиссии, затем – суда над декабристами. Он писал, что глубоко убежден в том, что только люди, умудренные долгими годами службы и хорошо разбирающиеся в работе государственного аппарата, могут управлять страной. Все притязания декабристов он считал дерзким мальчишеством, а нарушение ими присяги – преступлением. Однако во время следствия генерал-адъютант не раз оказывал помощь арестантам и стремился не подвести под удар невиновных. Именно точное исполнение приказа молодого царя – лучше отпустить двух виновных, чем осудить одного невиноватого – позволило ему выдвинуться из круга следователей. Именно Бенкендорфу в следующем году государь поручил создание политической, или «высшей полиции», так называемого III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.

В реальности грозное III отделение выглядело не совсем так, как привык современный читатель благодаря исследованиям советского времени. В нем служило сначала 12, а под конец 36 офицеров. Корпус жандармов, прообраз внутренних войск, составлял 4 тыс. человек. Для сравнения, согласно проекту П. И. Пестеля, для поддержания революционного порядка в стране правительству декабристов понадобилось бы не менее 40 тыс. чел. Тем не менее резонанс от деятельности «высшей полиции» в стране значительно превышал саму эту деятельность и с каждым годом вызывал все более раздраженную реакцию. Причем не только в среде либерально мыслящих литераторов, но главным образом – чиновничества, недовольного самим фактом надзора за соблюдением законодательства.

Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Бенкендорф командовал охраной Николая I и признавал, что это «абсолютно бесполезно», поскольку государь повсюду ездил один. Участвовал во взятии Варны. В 1829 г. – генерал от кавалерии, награжден орденом Св. Владимира 1-й степени, член Государственного совета. С 1832 г. – граф, в 1834 г. – орден Св. Андрея Первозванного. Со времени похода 1828 г. по 1837 г. сопровождал императора Николая I во всех его поездках и путешествиях по России и Европе. Бенкендорф умер 23 августа 1844 г. по дороге домой из Бадена, где находился на лечении. Николай I считал, что в его лице потерял близкого друга. «Он ни с кем меня не поссорил, а примирил со многими» – лучшая эпитафия на могиле главы тайной полиции.

Понятно, что мемуары такого осведомленного лица, каким был Бенкендорф, представляют особый интерес для исследователей. Хотя их плодотворное изучение началось сравнительно недавно, с середины 1980-х гг.

Мемуары о войне 1812 г. являются не только одним из самых интересных и ярких источников комплексов, доступных современным историкам. Они как ни один другой документальный пласт приближают читателя к давно ушедшим дням великого противостояния с Наполеоном и к людям той бурной и неоднозначной эпохи.



Война 1812 года. Случай в Польше

Говорят старики уланы, что всякий раз, как войско русское двинется куда-нибудь, двинутся с ним и все непогоды. На этот раз надобно им поверить: со дня выступления провожают нас снег, холод, вьюга, дождь и пронзительный ветер. У меня так болит кожа на лице, что не могу до нее дотронуться. <...> Я каждый вечер умываюсь сывороткой, и от этого средства боль немного прошла, но я сделалась так черна, так черна, что ничего уже не знаю чернее себя. <...>

Кастюкновка. В этом селении назначена эскадрону нашему дневка. Квартирою нам <...> служит крестьянская хижина, почернелая, закоптелая, напитанная дымом, с растрепанною соломенной кровлею, земляным полом и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передний угол этой лачуги принадлежит нам; у порога и печи расположились наши денщики, прилежно занимаясь чисткою удил, мундштуков, стремян, смазываньем ремней и тому подобными кавалерийскими работами. Неужели нам оставаться целый день в такой конурке и в таком товариществе! <...>

Селенье ****. Здесь остановились мы, не знаю, надолго ли. Мне отвели квартиру у униатского священника; молодая жена его очень нежно заботится доставлять мне все, что есть лучшего у нее в доме; всякое утро приносит мне сама кофе, сливки, сахарные сухари, тогда как для мужа приготовляет просто стакан гретого пива с сыром; обед ее всегда вкусен, деликатен, и, только чтоб не до конца прогневить супруга, готовится одно какое-нибудь блюдо по его вкусу, который, надобно признаться, довольно груб.

Вчера пастырь наш был очень рассержен чем-то; во все продолжение обеда хмурился и отталкивал блюда, которые жена его подставляла ему, приятно усмехаясь; к счастью, гневу его не довелось разразиться на словах. Никто не говорил с ним, и даже старались не встречаться взглядами; в этом маневре жена была из первых.

Хозяйка выводит меня из терпения; нет дня, чтоб она не говорила мне: вы должны быть непременно поляк! «Почему вы так думаете?» – спрашиваю я и получаю в ответ какую-нибудь пышную глупость: вы так приятно говорите; приемы ваши так благородны! Она с ума сошла!.. «Неужели приятность разговора и благородство приемов принадлежат, по Вашему мнению, исключительно одним полякам? Чем же провинились перед вами все другие нации, позвольте спросить, что вы отнимаете у них эти преимущества?...» Вместо ответа она смеется, отделяется шутками и снова начинает открывать во мне различные доблести поляка. Отбиваясь всеми возможными доводами от чести быть поляком, сказала я, между прочим, хозяйке, что если она замечает во мне что-нибудь не совсем русское, так это может быть оттого, что в крови моей есть частицы малороссийской и шведской крови, что бабки мои с отцовской и материнской стороны были одна малороссиянка, другая шведка. Хозяйка зачала хвалить шведов, превознося до небес их храбрость, твердость, правоту; хозяин приметно терял терпение; на беду, в это самое время подали ему любимое блюдо его, гречневую кашу, облитую сверху салом и усыпанную выжаренными кусочками этого же самого сала; в Польше называют их, не знаю уже для чего и почему, – шведами. Хозяин, схватя блюдо, поставил его перед собою и с исступлением стал бить ложкою по этим безвинным кусочкам, приговаривая: «Не люблю шведов! не люблю шведов!» Сальные брызги летели на мундир и эполеты мои; я поспешно встала из-за стола, обтирая платком лицо... «Ах, мой боже! – вскрикнула хозяйка, стараясь вырвать у него из рук ложку, – помешался, совсем помешался!»

Дни через три после этой сцены хозяйка принесла мне поутру кофе, как то делала всякий день; но в этот раз она уже не дожидалась, пока я возьму из рук ее чашку; она поставила все передо мною на столик и, не говоря ни слова, села задумчиво у окна. «Что так невесела, моя прекрасная хозяйка?» – спросила я. «*Nic, ranie porucznik!* (Ничего, пан поручик! – *польск.*) – Помолчав с минуту, она стала говорить: – Будете вы помнить меня?» – «Буду, клянусь честью,

буду!» – «Дайте же мне залог этого обещания». – «Извольте; что вам угодно?» – «Это кольцо!» Она взяла мою руку, сжимая легонько мизинец, на котором было золотое кольцо... Этого я не ожидала; молча и в замешательстве смотрела я на молодую попадью, устремившую на меня свои черные глаза, и не знала, что делать!.. Кольцо это было подарено девицею Павлищевой, и я поклялась ей никогда не расставаться с ним. Между тем хозяйка ждала ответа и, разумеется, невольно смешалась, видя, что я не снимаю в ту ж секунду кольцо, чтоб отдать ей... «Что это значит, мой друг, что ты сидишь у господина поручика и забыла, что я еще не завтракал?» Это говорил разгневанный хозяин; он растворил дверь моей комнаты и, увидя, что жена его держит мою руку, остановился на пороге. Жена кинулась к нему: «Ах, жизнь моя, душа моя, прости мне, пожалуйста! сейчас все будет готово!» Говоря это, она как молния проскочила мимо мужа и оставила его в положении статуи на пороге дверей, прямо против меня. Успокоенная счастливым оборотом дела, грозившего сначала лишить меня кольца, этого бесценного залога дружбы, я просила хозяина войти ко мне. «Я скажу вам радостную весть, господин поручик», – говорил хозяин, входя в комнату. «Какую ж это, почтенный отец?» – «Вы завтра идете в поход». – «Завтра! а вы как это знаете?» – «Я сейчас от вашего ротмистра; просил было, чтоб вас переместили к кому другому. Вы, надеюсь, не прогневайтесь на это; я не так богат, чтоб давать стол и все выгоды офицеру долее двух или трех дней, а вы стояли у меня около двух недель. Все это я представил вашему ротмистру; но он сказал, что сию минуту получено повеление выступить в поход и что завтра в восемь часов утра эскадрон ваш выйдет отсюда». – «Поздравляю вас, любезный хозяин! весть эта, конечно, радостнее вам, нежели мне; теперь время не слишком благоприятно для похода: и дождь, и снег, и холод, и пыль – все вместе! Я думал, мы дождемся здесь, пока весна установится прочно». – «Что ж делать! когда велют, надобно идти». Сказав это, хозяин поклонился мне с иронической усмешкою и отправился пить свое гнетое пиво.

Итак, поход! да и к лучшему, идти так идти; на этих квартирах мы только бесполезно разнеживаемся; привыкаем к лакомствам, ласкам, угождениям; белые атласные ручки легонько треплют по щеке; рвут нежно за ушко; дают конфект, варенья; стелют мягкую постель, и как легко, как приятно свыкаться! Со всем этим вдруг поход, вдруг надобно перейти от неги к суровостям, пересесть с бархатной софы на бурного коня и так далее: во всем контраст! Я не успела кончить своих размышлений, как ротмистр прислал за мною. «Ну, брат, – сказал он, как только я отворила дверь к нему в горницу, – прощайся с черноглазой попадьею своею, завтра поход!» – «Слава Богу, ротмистр». – «Слава Богу? вот новость!.. да не ты ли был *pienne dziecko* и *szegwone jablko*? (прекрасное дитя и красное яблочко – *польск.*) Неблагодарный!..» Шутка ротмистра напомнила мне, что я в самом деле неблагодарна; за любовь хозяйки я не могла заплатить ни любовью, ни золотым кольцом; но все надобно было бы подарить что-нибудь на память, и, разумеется, не деньги! Я возвратилась на квартиру; хозяйка печально накрывала стол; хозяин стоял у окна, играл какую-то жалобную песню на скрипке и посматривал иронически на жену.

До обеда оставался еще целый час; я пошла в свою горницу, чтоб посмотреть, не найду ли чего подарить хозяйке; роюсь в вещах своих, отыскала я две дюжины сарпинских платков, радужно блестящих; я купила их в Сарепте и послала батюшке; но когда была у него в гостях, он подарил мне их обратно, и они лежали у меня без употребления; я вынула их и разложила по столу. Продолжая ревизовать свое имущество, я отыскала в углу чемодана свой силуэт, снятый еще в гусарском полку и в том же мундире; я положила его к платкам и опять зачала перебрашивать все, что было в чемодане. Наскуча наконец искать и не доискиваться и чтоб кончить все одним разом, я взяла чемодан за дно, перевернула, вытрясла всю его начинку на пол и села сама тут же; в ту самую минуту, как я с восторгом схватила одною рукой стразовую пряжку к поясу, а другою большой платок, подаренный сестрою, вошла хозяйка: «Обед готов! что вы это делаете?» – «Вы хотели иметь какую-нибудь вещь на память, сделайте мне удовольствие, выберите,

что вам понравится», – говорила я, показывая ей на платки, силуэт, пряжку и платок большой. «Я выбрала кольцо». – «Его нельзя отдать, это подарок друга». – «Святая вещь, подарок друга! берегите его!..» Она подошла к столу, взяла силуэт и, не обращая глаз на другие вещи, пошла к дверям, говоря, что муж ее ждет меня обедать. Выбор подарка тронул меня, я побежала за нею, обняла ее одною рукой и убедительно просила взять еще хоть стразовую пряжку для пояса: «Ведь вы любите меня, моя добрая хозяйюшка! для чего ж не хотите взять вещь, которую будете носить так близко к сердцу?» Она не отвечала ничего и даже не взглянула на меня; но, прижав к груди руку мою, взяла из нее легонько пряжку и сошла вниз, не говоря ни слова. Через минуту я последовала за нею; хозяин сидел уже за столом, хозяйка показывала ему пряжку. «Ну что я в этом разумею», – говорил он, отталкивая руку ее и пряжку. Увидя меня, он встал, прося меня садиться за стол: «А что, мой друг, сегодня надобно бы получше угостить господина поручика, ведь он расстается с нами, вероятно, навсегда; что у нас сегодня?» – «Увидишь». После этого короткого ответа, сказанного как будто с досадою, она села на свое место. «Моя жена сердится на вас, – стал говорить хозяин, – вы слишком дорого платите ей за эти две недели, которые мы имели удовольствие доставлять вам кой-какие неважные выгоды». – «Кажется, я ничем не платил вам; блестящую безделку нельзя принимать как уплату; это просто для...» – я хотела сказать – воспоминания, но хозяйка взглянула на меня, и я замолчала, как можно заметить, очень некстати; хозяин dokonчил: «Подарок для памяти, не так ли? Но мы и без него помнили бы вас». День этот весь, до самого вечера, хозяин был в хорошем нраве; он шутил, смеялся, играл на скрипке, целовал руки жене и просил ее спеть под аккомпанемент его игры: *vous me quittez... вы меня покидаете... – фр.*), прося и меня присоединить мои убеждения к его. «Вы еще не знаете, как прекрасно поет моя жена!..» Наконец жена потеряла терпение, укоризненно взглянула на своего мужа глазами, полными слез, и ушла. Это расстроило хозяина; он в замешательстве и торопливо повесил скрипку на стену и отправился вслед за женою. Я пошла к ротмистру и пробыла там до полночи, именно для того, чтоб не видаться, если можно, этого вечера ни с одним из моих хозяев; но обманулась в своем расчете; оба они дожидались меня ужинать и были, по-видимому, в самом лучшем согласии. Видя, как хозяйка амурно прилегла на грудь своего супруга, я подумала было, что подозрения мои неосновательны, и, обрадовавшись этому открытию, стала говорить с нею весело, дружески и доверчиво; но разочарование было готово. Муж оборотился к дверям приказывать что-то человеку; хозяйка в это время проворно вынула из-за косынки мой силуэт, показала мне его, поцеловала и опять спрятала; все это сделала она в две секунды, и, когда муж ее снова обернулся к нам, она опять прильнула к плечу его.

Я встала на рассвете, на минуту завернула к хозяину и жене его, пожелала им счастливо оставаться и отправилась к ротмистру ожидать часа, назначенного для похода. Насмешник Торнези всю дорогу ехал подле меня и пел: *nie kochaysie we mnie, bo to nadaremnie...* (не влюбляйся в меня, потому что это напрасно... – польск.).

Мы идем не торопясь, переходы наши невелики, и вот снова велено нам остановиться впредь до повеления, и, как нарочно, квартиры достались самые невыгодные. Деревня эта бедна, дурна и разорена, надобно думать, непомерными требованиями ее помещика. Мы все четверо квартируем в одной большой избе, и разместились – Чернявский с старшим Торнези у окна на лавках; а я с младшим у печи на нарах; прямо против нас на печи, под самым потолком, сидит старуха лет в девяносто. Не знаю, для чего она берет себя непрерывно двумя пальцами за нос, говорит при этом самым тонким голосом – хм! и потом прикладывает эти два пальца к стене. Первые дни мы с Торнези хохотали как сумасшедшие над этим упражнением нашей Сивиллы, но теперь уже привыкли и, несмотря на пронзительное хмыканье, иногда забываем, что над нашими головами есть нечто дышащее.

Этого года весна какая-то грустная, мокрая, холодная, ветреная, грязная; я, которая всегда считала прогулкою обходить конюшни своего взвода, теперь так неохотно собираюсь вся-

кое утро в этот обход, лениво одеваюсь, медлю, смотрю двадцать раз в окно, не разъясняется ли погода; но как делать нечего, идти надобно непременно, иду, леплюсь по кладкам, цепляюсь руками за забор, прыгаю через ручейки, пробираюсь по камням и все-таки раз несколько попаду в грязь всюю ногой. Возвратясь из своего грязного путешествия, я застаю моих товарищей всех уже вместе: Чернявский читает Расина, Сезар курит трубку и всегда кладет кусочек алая на верх табаку, говоря, что так делают турки; Торнези, Иван, представляет иногда балет – Ариадна на острове Наксосе, и всегда самую Ариадну. Это могло б рассмешить и умирающего; я забываю в ту ж минуту затруднительный вояж по грязным улицам.

Подъямпольский поехал в штаб для каких-то отчетов дни на три; товарищей моих послали доставить овса и сена для наших лошадей, а я осталась командиром эскадрона и повелителем всей деревни по праву сильного. Я так мало заботилась знать что-нибудь в этой деревне, кроме своих конюшен, что даже не знала, есть ли в ней почта или нет; сегодня утром я имела случай узнать это. Окончив все занятия по службе, взяла я какую-то Вольтерову сказку перечитывать в сотый раз от нечего делать и от нечего читать; и когда я с нехотением и скукою развернула книгу и легла было на походный диван свой – лавку с ковром, дверь вдруг отворилась и вошел молодой пехотный офицер: «Позвольте узнать, кто здесь командует эскадронам?» – «Я». – «Прикажете, сделайте милость, дать мне лошадей; я спешу в полк, вот моя подорожная; жид, содержатель почты, не дает мне лошадей, говорит, что все в разгоне, но он лжет; я видел – множество их ведут поить». – «Сию минуту будут у вас лошади. Прошу садиться. Послать ко мне дежурного!..» Дежурный пришел. «Ступай сейчас на почту и прикажи заложить лошадей в экипаж господина офицера, каких найдешь, хотя бы жид и сказал, как то они говорят обыкновенно, что у него одни только курьерские». Дежурный пошел и в две минуты возвратился с жидом, содержателем почты. Иуда клялся и говорил, что не даст лошадей, потому что остались только одни курьерские. «А вот увидим, как ты не дашь лошадей! – Я оборотилась к дежурному: – Я приказал тебе, чтоб лошади были непременно заложены; зачем ты пришел ко мне с жидом?» С окончанием этого вопроса дежурный и жид в одну секунду исчезли; их обоих словно вихрем вынесло за дверь, и через десять минут экипаж офицера подкатился к крыльцу моей квартиры. Офицер встал: «Не служили ль вы когда в гусарах?» – спросил он. «Служил». – «И, верно, в Мариупольском? и, верно, вы Александров?» – «Да, почему вы это знаете?» – «Я был с вами знаком в Киеве; мы были вместе на ординарцах у Милорадовича; неужели вы меня не вспомните?» – «Нет». – «Я Горленко». – «Ах, боже мой! теперь только я припоминаю себе черты ваши; как я рад! Посидите же у меня еще немного; расскажите мне о других наших товарищах; где Шлеин, Штейн, Косов?» – «Бог их знает; я с ними, так вот как и с вами, до сего времени нигде не встречался. Увидимся где-нибудь все; теперь настало время разгульного житья, то есть беспрестанной ходьбы, езды, походов, переходов, то туда, то сюда, где-нибудь да столкнемся; с ними я не был так дружен, как с вами. Помните ли, как мы садились всегда в конце стола, чтоб быть далее от генерала и брать на свободе конфеты? Ташка ваша всегда была нагружена для обоих нас на целый день». – «Нет, это вы уже шутите, я что-то не помню, чтоб нагружал свою ташку десертом». – «А я так помню! Прощайте, Александров! Дай Бог нам увидеться опять такими же, как расстаемся!» Он сел в повозку и понесся вдоль по ухабистой дороге посреди тучи грязных брызг. Я возвратилась в свою дымную лачужку, очень довольная тем, что заставила проклятого жида дать лошадей; я еще не забыла тех придирок и задержек, которые испытывала на станциях, когда ездила в отпуск. Все проделки зрителей тотчас пришли мне на память, как только Горленко сказал, что ему не дают лошадей под предлогом, будто они все в разгоне, и я обрадовалась случаю отмстить хоть одному из этого сословия.



Фуражировка. На марше

Наконец и я отправилась доставать фураж! Мне, как и другим, дали команду, дали предписание за подписью и печатью командира полка ездить по окружным поместьям, требовать у помещиков овса и сена, брать все это и взамен давать расписки, с которыми они могут посылать своих старост в эскадрон, чтоб там получить квитанции и с ними опять ехать в штаб; там тоже дадут квитанции, и с этими уже квитанциями должны господа помещики явиться в комиссию для получения уплаты наличными деньгами.

На рассвете оставила я грязную деревню нашу <...> и, последуемая двенадцатью уланами, отправилась в путь. Первым поприщем моих действий было поместье подкоморого Л***, в тридцати верстах от наших квартир. Поручение мое казалось мне довольно щекотливым, и оттого я пришла в большое замешательство, когда увидела дом пана Л*** в десяти шагах от себя... Как я начну! что скажу! Может быть, это человек почтенный, старый, отец семейства; примет меня радушно, сочтет за гостя, а я, я буду требовать овса почти даром! Я ведь знаю, что поляки неохотно отдают свои произведения под наши квитанции и все способы употребляют избавиться от них; что и весьма натурально. Как бы ни был верен платеж по квитанциям, но все веселее и вернее получить сию минуту наличные деньги, нежели разъезжать туда и сюда с квитанциями. Рассуждая, размышляя и краснея от готовящейся драмы, я все-таки доехала, въехала на двор, вошла в комнаты, и предчувствие не обмануло меня...

Меня встречает человек лет шестидесяти; лицо его печально, взор беспокоен. Приметно, однако ж, что причина этого не мы, незваные гости; ему даже и не видно улан моих, а я одна, с моею наружностью семнадцатилетнего юноши, не могла испугать его; итак, это какая-нибудь домашняя скорбь рисуется на добродушном лице его. Поляки всегда очень вежливы; он пригласил меня сесть, прежде нежели спросил, что доставляет ему честь видеть меня в своем доме. Наконец начало сделано; вопрос, столько ужасающий меня, вылетел из уст моего хозяина; я отвечала, покраснев, как только может человек покраснеть, что имею поручение от полка отыскивать фураж, где только есть возможность достать его, и купить... разумеется, не на деньги, а под квитанцию. «Я не могу вам служить этим, – сказал помещик равнодушно, – неделя тому назад у меня сгорело все: овес, сено, пшеница, рожь, и я теперь отправил к окружным помещикам купить для себя всего этого, если продадут. Квартирование ваше, господа кавалеристы, очень выгодно для тех из нас, у которых есть что продавать вам, но служит величайшим подрывом для тех, которые, подобно мне, ищут купить». В продолжение этого разговора нам подали кофе. Л*** продолжал: «Вы имеете поручение весьма затруднительное; простите мою откровенность, но под квитанции ни один помещик не продаст вам продуктов земли своей; не продаст бы и я даже и тогда, если б все мы не имели другой дороги сбыть их; посудите же, отдадут ли их теперь, когда имеют случай продать за наличные деньги?» Я встала в нерешимости и не знала, что делать: уехать, не говоря более ни слова, или показать ему предписание? Л*** тоже встал. «Вы уже едете? Жалею очень, что не могу исполнить вашего требования; мне приятно было бы долее пользоваться удовольствием видеть вас у себя, если б я не был убит горестию: вчера я схоронил сына!..» Он не мог более ничего сказать; глаза его затмились слезами, и он сел, не в состоянии будучи держаться на ногах. Я поспешно вышла, села на лошадь и в галоп ускакала с моими уланами.

Под вечер приехала я в поместье Старостины Ц*** и теперь уже несколько смелее вошла в комнату. Как на беду, и здесь надобно иметь дело с старостью; меня приняла дама лет осьмидесяти; узнав мою надобность, она велела позвать эконома и просила меня заняться чем-нибудь, пока он придет. Говоря это, она отворила дверь в другую комнату; это была обширная зала, где собраны были всех родов способы забавляться: волан, бильярд, кольцо, карты, разрезные картинки, арфа, гитара... Я нашла тут общество молодых людей; все они занимались

разными играми. «Это все мои внуки», – сказала хозяйка, вводя меня в их круг; они в ту же минуту просили меня взять участие в их играх; я тотчас согласилась и от всей души предавалась удовольствию играть во все игры поочередно; подхватывая и отбрасывая волан, я в то же время слушала очаровательную игру на арфе одной из девиц и восхитительное пение другой. Как желала я, чтоб экононом не приходил как можно долее! При звуках арфы и прекрасного голоса можно ль было помыслить, не содрогаясь, о том предписании, которое, как спящий змей, лежало у меня на груди под мундиром; стоило только вынуть его, и все встревожатся. А теперь – как веселы эти молодые люди! Как они полюбили меня! Как дружелюбно жмут мне руки, обнимают, целуют; девицы сами ангажируют, в танцах резвятся, бегают! Все мы теперь не что иное, как толпа взрослых детей, и вот чрез какие-нибудь полчаса вдруг все переменится; я сделаюсь отчаянным уланом, имеющим и власть и возможность забрать у них фураж... А мои пленительные хозяева... что сделается с их радостными физиономиями, живым и веселым говором! Ах, для чего и здесь не сгорел весь овес и не умерла которая-нибудь внука или внук!.. Тогда мне легче было бы уехать без всего; а теперь!.. Вот я уже в пятидесяти верстах от эскадрона, а еще ничего не сделала и, верно, не сделаю, потому что всякий помещик, хотя бы он имел одну только каплю ума, не даст мне ничего под простую расписку; а требовать повелительно и в случае отказа все-таки надобно взять нужное и отправить в эскадрон на их же лошадях, дав помещику за все это расписку!.. Как можно подумать об этом и не прийти в отчаяние! По крайней мере, я впервые проклинала свое уланское звание; среди танцев, смеху, беготни я вздрагивала всякий раз, когда отворялась дверь в нашу залу. К счастью, экононом не пришел до самого ужина, и, к величайшему моему благополучию, хозяйка сказала, что может дать мне овса четвертей десять и четыре воза сена с тем, чтоб людям ее было заплачено за провоз и чтоб с моею распискою ехал в эскадрон при возах ее староста и мой унтер-офицер; я с великою радостью и благодарностию согласилась на все ее распоряжения и поцеловала ее руку; я поцеловала бы ее и тогда, если б не была к этому обязана обыкновением Польши и моим одеянием, потому что ее снисходительность сняла ужаснейшую тяжесть с моего сердца и избавила от необходимости шевелить змея, которого теперь повезу далее.

Отправя возы с фуражом, я возвратилась к веселому обществу; меня ожидали ужинать, и хлопоты отправления замедлили ужин одним часом; когда сели за стол, хозяйка поместила меня подле себя. «Вы слишком усердны к службе, молодой человек, – начала она говорить, – возможно ли смотреть самому и дожидаться, пока возы с фуражом наложатся и выберутся из селения; это уже чересчур: по вашему виду и молодости я не предполагала найти в вас такого хорошего служивого». Безрассудная старуха не знала того, что для ее же выгод я ни на минуту не выпускала из виду моих улан; они могли бы поискать в разных местах чего-нибудь получше овса! Долго ли будут люди судить всегда по наружности!.. Меня удерживали ночевать, но я уже разочаровалась и не находила более приятности быть в этом обществе.

Оставя дом Старостины Ц***, я решила ехать всю ночь, чтоб на рассвете посетить еще деревню отставного ротмистра М*** польской службы; жиды сказали мне, что у него очень много заготовлено овса и сена, и именно на продажу; надеюсь, судьба будет так милостива ко мне, что спящий змей не проснется.

Старый народовец, к которому я пришла в десять часов утра, принял меня со всем радушием кавалериста: «Садитесь, садитесь, любезный улан, чем вас потчевать? вина вы, верно, еще не пьете, не правда ли? итак, кофе. Гей, Марисю!» На этот возглас явилась Марися, седая, сухая, высокая, с пасмурною физиономией. «Прикажи, милая, подать нам кофе». Самолюбию моему было очень лестно, что Марися (хотя ей было под пятьдесят) взглянула на меня ласково и с усмешкою, тогда как взор ее на ветерана выражал и досаду и пренебрежение вместе; она отвечала, что сейчас будет готов, ушла и через четверть часа возвратилась с кофеем. Сказав своему господину, что его спрашивает экононом, сама поместилась подле меня, чтоб разливать кофе; я не удивлялась этой фамильярности: домоправительницы холостых стариков имеют все

привилегии госпож и в Польше бывают почти всегда из дворян, то есть шляхтянки. Наконец хозяин возвратился; узнал причину моего приезда, покачал головою, пожал плечами: «Ну, если я не дам под расписку вашу овса, что тогда?» – «Тогда у меня не будет его», – отвечала я. «Вы умереннее, нежели я ожидал, и это делает вам много чести. Для чего ваши начальники не посылают вас с деньгами, вместо права давать расписки?» – «Не знаю; это уже, думаю, хозяйственное распоряжение полка. Но ведь и вам все равно, что расписка, что деньги; разница только во времени; получите немного позже, потому что надобно ехать за ними в штаб». Народовец рассмеялся: «Ах, как вы еще молоды, *kochany kolego!* (милый коллега! – *польск.*) Пойдемте, однако ж, вам, я думаю, нельзя терять времени, пойдемте; я велю дать вам двадцать четвертей овса; более этого не могу и не хочу уделить вам от назначенного уже мною в продажу не иначе как на деньги». Я так обрадовалась этим двадцати четвертям, которые превышали мое ожидание, давали возможность возвратиться в эскадрон и освободиться наконец от ненавистной баранты, что схватила руку старого народовца и побежала было с быстротою лани, таща его с собою... «Тише, тише, молодой человек! верю, что вам приятно получить столько овса без хлопот; но моя пора бегать прошла уже; сверх того, я ранен в обе ноги, итак, пойдемте шагом». Я устыдилась своего неуместного восхищения и молча шла подле моего доброхотного хозяина. Мы прошли через прекрасный сад и вышли к его стодам и житницам; тут стоял эконоом и мои уланы. Наконец все готово; я отправила всех своих улан с этой добычею и оставила при себе только одного, располагаясь провести день у любезного народовца и завтра возвратиться в эскадрон. С каким удовольствием вынула я из-за мундира свое предписание, изорвала его в мельчайшие кусочки и бросила в озеро. Как я была рада! Вся веселость моя возвратилась, и старый ротмистр так доволен был моим товариществом, что просил меня самым убедительным образом остаться у него еще дни на два: «Ваша юность цветущая, живость, веселость приводят мне на память и оживляют в душе моей счастливое время молодости; таков был я в ваши лета; останьтесь, молодой человек, – говорил он, обнимая меня, – подарите эти два дня старику, который полюбил вас, как сына!» Я осталась. В награду моей уступчивости хозяин мой пригласил к себе из окружающих поместьев семейства три или четыре. Я провела очень весело время у бравого народовца; мы танцевали, играли во все возможные игры, бегали по горницам не лучше пятилетних детей, и сколько ни хмурилась Марися, но шум, говор, смех, танцы нисколько не утихали; и сверх того, хозяин превзошел наше ожидание, установив огромный стол конфетами, вареньями и лакомствами всех родов. Каково-то было бедной Марисе; она не могла пройти мимо этого стола, не сделав какой-то судорожной гримасы.

Два дни минуло; я простилась с моим добрым хозяином и поехала обратно в эскадрон. Так кончилась неприятная откомандировка моя, и дай Бог, чтоб никогда уже более не возобновилась! Возвратясь домой, я ничего не рассказывала ротмистру, кроме того, что не имела нужды прибегать к насильственным мерам. <...>

Сегодня товарищи мои возвратились, и сегодня же мы идем в поход. Долго ль это будет! я что-то худо понимаю, для чего мы идем с такими расстановками?

Мы прошли верст сто и опять остановились. Говорят, Наполеон вступил в границы наши с многочисленным войском. Я теперь что-то стала равнодушнее; нет уже тех превыспренных мечтаний, тех вспышек, порывов. Думаю, что теперь не пойду уже с каждым эскадроном в атаку; верно, я сделалась рассудительнее; опытность взяла свою обычную дань и с моего пламенного воображения, то есть дала ему приличное направление.

Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши оседланы, мы одеты и вооружены; с полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает за селение содержать пикет и делать разъезды; другая остается в готовности на лошадях. Днем мы спим. Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец Жуковского:

Близ Наревы дом мой тесный:

*Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет,
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем...*

Это точь-в-точь мы, литовские уланы: всякую полночь седлаем, выезжаем; и домик, который занимаю, тесен, мал и близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений; воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровице! Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу; о, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни!.. Балы, танцы, волокитства, музыка... о боже! какие пошлости, какие скучные занятия!..

Право, я не думала, что найду употребление тому вину, которого раздают нам по две рюмки каждый день наравне с солдатами; но, видно, не надобно ничем пренебрегать: вчера, проходя одно селение, должно было нашему эскадрону идти через узкую плотину; какое-то затруднение, встретившееся переднему отделению, заставило эскадрон остановиться; другие, подходя, потеснили нас с тылу, и лошади наши, теснясь и упираясь, чтоб не упасть в широкие рвы с боков плотины, стали беситься, бить и становиться на дыбы. В этом беспорядке меня вдавили в середину моего взвода и так сжали, что я хотя и видела, как стоящая передо мною лошадь располагалась ударить меня своею хорошо подкованною ногою, но во власти моей было только с мужеством дожидаться и вытерпеть этот удар; от жестокой боли я вздохнула из глубины души! Негодная лошадь имела и волю и возможность раздробить ногу мою, потому что я была, как в тисках; к счастью, когда она собиралась повторить удар, эскадрон тронулся с места, и все пришло в порядок. Когда стали на лагерь, я осмотрела свою ногу и ужаснулась: она была расшиблена до крови и распухла: от подошвы до колена ломит нестерпимо. В первый раз в жизни я охотно села бы в повозку; мучительно ехать верхом; но как переменить этого нечем, то и надобно терпеть. Повозок при нас давно уже нет ни одной. Теперь вино пригодилось мне; всякий день я мою им больную ногу свою и вижу, к испугу моему, что она делается с каждым днем багровее, хотя боль и утихает. Ступень ушибленной ноги сделалась черна, как уголь; я боюсь смотреть на нее и не могу понять, отчего почернела ступень, когда ушиб на середине между ею и коленом?

Штаб-лекарь Карнилович говорит, что ногу мою надобно будет отрезать; какой вздор!

Что бы это значило? Мы отступаем, и очень поспешно, а еще ни разу не были в деле!

Сегодня шли без дороги, лесом; я думала, что мы спешим прямым путем на неприятеля, но ничего не бывало; мы прибежали, чтоб вытянуть фронт наш в высоких коноплях. Было для чего торопиться! Однако ж впереди нас сражаются... <...> Мы все еще стоим в коноплях; день жарок до несносности. Ротмистр Подьямпольский спросил меня, не хочу ли я купаться? И когда я отвечала, что очень бы хотела, тогда велел мне взять начальство над четырнадцатью человеками улан, отряженными им за водою к ближней речке, которая была также недалеко и от сражающихся. «Теперь имеешь случай выкупаться, – сказал ротмистр, – только будь осторожен: неприятель близко». – «Что ж мы не деремся с ним?» – спросила я, вставая с лошади, чтобы идти на реку. «Как будто всем надобно драться! подожди еще, достанется и на твою долю; ступай! ступай! не мешкай! да смотри, пожалуйста, Александров, чтоб соколы твои не разлетелись». Я пошла позади моей команды, велев унтер-офицеру идти впереди, и в таком порядке привела их к речке. Оставя улан наполнить котелки свои водою, умываться, пить и освежаться как могли, я ушла от них на полверсты вверх по течению, проворно разделась и

с неизъяснимым удовольствием бросилась в свежие, холодные струи. Разумеется, я недолго могла тут блаженствовать; минут через десять я вышла из воды и оделась еще скорее, нежели разделась, для того что выстрелы слышались очень уже близко. Я повела свою команду, освеженную, ободренную и несущую благотворную влагу своим товарищам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.